

Восстание

В начале июля 1918 года Махно перешел границу Украинской державы по подложному паспорту на имя Ивана Яковлевича Шепеля, учителя из Екатеринославской губернии. В Харькове ему с трудом удалось сесть на поезд: в согласии с последними веяниями, проводник требовал от проезжего внятного, по всем правилам украинской мовы, объяснения, но Махно украинский язык забыл и говорил запинаясь. За то время, что он путешествовал, порядки на Украине изменились в корне: меньшевистско-эсеровское правительство Центральной рады, с которым немцы заключили мирное соглашение, использованное ими как повод для начала оккупации Украины, было теми же немцами разогнано и даже частично отдано под суд за идиотское похищение банкира Доброго. Похищение было организовано премьер-министром Центральной рады студентом третьего курса Всеволодом Голубовичем и министром внутренних дел Ткаченко (охарактеризован одним из современников как «мелкий авантюрист и интриган») в знак протеста против того, что генерал Герман фон Эйхгорн, командующий группой армий «Киев», отменил универсал Рады о социализации земли. Суд смахивал на трагифарс. Прокурор, типичный прусский служака, третировал бывших министров как мальчишек, с наслаждением им выговаривая:

– Когда с вами разговаривает прокурор, вы должны стоять ровно и не держать руки в карманах...

Голубович не выдержал, с ним сделалась истерика, он разрыдался – пришлось устроить перерыв, чтобы успокоить премьера. Успокоившись, он сознался суду в своей причастности к похищению Доброго и обещал больше никогда так не делать. Прокурор не смог сдержать сарказма:

– Я не думаю, что вам вновь когда-нибудь придется стоять во главе правительства...

На место Центральной рады немцами было посажено правительство гетмана Павла Петровича Скоропадского, генерал-лейтенанта, крупного землевладельца, крепко приверженного дореволюционным идеалам. Повсеместно возрождалось старое уложение жизни. В том числе возврату прежним владельцам подлежала земля, переделенная осенью 1917-го. Крестьяне должны были вернуть кулакам и помещикам также скот, инвентарь и, сверх того, за счет будущего урожая компенсировать невосполнимые убытки, причиненные в ходе дележа. К этому добавлялась еще необходимость выплачивать оккупантам репарации по мирному договору, поставлять хлеб, скот, птицу – которые, естественно, тоже выжимались из деревни. На хлеб оккупационными властями была установлена твердая цена, но крестьяне, затаив лютую злобу, хлеб зажали. Правительство вынуждено было прибегнуть к принудительным «закупкам»: толку вышло немного, но злоба расширилась, и если в городах, несмотря на дерзкое убийство левыми эсерами генерала Эйхгорна, все-таки держался строгий немецкий порядок, то в деревне вновь под покровом ночи разверзалась какая-то кровавая жуть. «В Екатеринославском уезде совершено вооруженное нападение на

имение Герсеговой, – писала газета „Слово“. – Взорван дом, убиты управляющий и сторож, ранены девушка и двое детей» (40, 38). «Нападение на дом Конько сопровождалось убийством 7 человек. Убит управляющий именем Ивакин. Ограблено 20 000 рублей у помещика Бутко... В имении Литвинова вырезан весь состав служащих» (39, 38). «В Верхнеднепровском уезде грабителями убиты Перетятко и вся его семья. При нападении на дом Сендеря ограблено 2000 рублей. В Славяносербском уезде ограблена и расстреляна семья Неказанова» (40, 39).

Вряд ли эти убийства совершались непосредственно крестьянами: тут чувствуется холодный расчет, твердая рука преступников или профессиональных революционеров, начавших осуществлять «аграрный террор» по подобию 1905–1907 годов. Перечисленные злодеяния – как бы изнанка той революционной «работы», о которой пишет Махно в третьем томе своих воспоминаний, усердно идеологически ее оправдывая и разъясняя. Но, каковы бы ни были мотивы, деяния Махно и организованного им отряда, без сомнения, могли бы существенно пополнить этот газетный перечень. Сам Махно рассказывает о своих подвигах мало и уклончиво, боясь себя скомпрометировать, но местами он начинает собой любоваться и тут ненароком что-нибудь выдает. Так что, несмотря на крайнюю скудость и сомнительную достоверность сведений об этом периоде махновщины, кое-что нам все-таки известно.

Приехав на Украину, Махно поселился неподалеку от Гуляй-Поля на чердаке у некоего Захария Клешни, где он отлежался, выслушал новости и сочинил несколько пламенных писем к односельчанам, не без достоинства подписав их: «Ваш Нестор Иванович» (54, 7). Переодевшись бабой, сходил поглядеть на родное село. В Гуляй-Поле стоял мадьярский батальон с командой из офицеров-австрийцев. Дом матери Махно оккупанты сожгли, как и дома других смутьянов семнадцатого года. Расстреляли старшего брата Емельяна, который, как инвалид мировой войны, к бунту не был причастен. Вроде бы даже жена Емельяна, Варвара Петровна, умолила коменданта не убивать мужа – не тот это Махно, – но, когда подскакал всадник, чтоб отменить приказ, тот уже лежал, сраженный пулями, в яме, вырытой своими руками. Самого старшего брата, Карпа, тоже водили расстреливать, но по неизвестной причине, из издевательства, что ли, пальнули поверх головы и стали полосовать нагайками, спрашивая, где деньги. Карп Иванович человек был мирный, работал как вол, кормя одиннадцать детей, денег у него сроду не было. Залпа в лицо и плетей он не вынес и, едва дотянув до дому, простился со своими и умер.

Эти жертвы были невинными, они взывали к отмщению, и сын Карпа, Миша, потом пошел в отряд к Махно мстить за отца. И если Нестор Махно лицом и фигурой был неказист, то племянник его был красавец – сохранилось фото. Он погиб в бою с белыми в 1919 году. И в этом своя была ужасающая логика, ибо, если узел ненависти развязан, платить по счетам ее приходится не только тем, кто развязывал, но и потомкам их – не до семи, но до семижды семидесяти раз. Мы до сих пор платим по этим счетам, хоть, может, и не осознаем этого. А уж в 1918 году можно себе представить, как было накалено народное настроение! В Терновке, например, где Махно поселился у своего дяди под видом учителя, его едва не прикончили местные хлопцы, заподозрив в нем провокатора. Он пишет, что на пирушке открылся им и организовал боевую группу. Так или иначе, к сентябрю вокруг Махно собралось человек восемь: Чубенко, Марченко, Каретников – все из старых буянов. Махно

скороговоркой отмечает, что занимались они в основном нападениями на кулацкие хутора и помещичьи имения. По показаниям, которые дал ГПУ арестованный в 1920 году Алексей Чубенко, один из ближайших сподвижников Махно, первой акцией террористов был налет на экономию помещика Резникова, семью которого вырезали целиком – за то, что в ней было четыре брата-офицера, служивших в гетманской полиции. «Здесь же были добыты первые 7 винтовок, 1 револьвер, 7 лошадей и два седла» (40, 39).

22 сентября махновцы, одетые в мундиры державной варты[9] (полиции), встретили на дороге конный разъезд поручика Мурковского. Махно, в форме капитана гетманской армии, представился начальником карательного отряда, присланного из Киева по распоряжению самого гетмана, и поинтересовался, куда держат путь офицеры. Мурковский, не подозревая подвоха, рассказал, что направляется в отцовское имение отдохнуть, денек-другой поохотиться за дичью и за крамольниками. Предложил составить компанию.

– Вы, господин поручик, меня не понимаете, – срывающимся от волнения голосом выговорил «капитан». – Я – революционер Махно. Фамилия вам, кажется, достаточно известная? (54, 51).

Офицеры стали предлагать Махно деньги, но тот холодно отказался. Тогда, исполнившись страха гибели, «охотники» кинулись врассыпную. По ним ударили из пулемета...

О, Махно любил провокацию! Любил недоумение и страх, темнотой проступающий в глазах врагов, когда внезапно объявлял он им свое имя. Любил до того, что и в позднюю пору, будучи грозным командиром Повстанческой армии, он нет-нет да позволял себе тряхнуть стариной и покуражиться по-прежнему, по-робингудовски, с отчаянным враньем и маскарадом: лицедей был. Послушайте интонацию, с которой Махно повествует о случившемся в тот же день, 22 сентября, событии – вы сразу поймете, как нравилось ему лицедейство, каким он себе нравился.

Когда, разделавшись с Мурковским, отряд проезжал одну из барских усадеб, навстречу ему выскочил голова державной варты с вопросом, что за стрельба была.

«– А вы начальник варты и не знаете, что делается в вашем районе?»

Тот стал ругаться, но Махно грубо оборвал его:

«– А вы кому служите?»

– Державі та и голові вельможному панові гетьманові Павлові Скоропадському, – последовал ответ.

– Так вот, возиться нам с вами некогда, – сказал я ему и, обратясь к товарищам, добавил:

– Обезоружьте его и повесьте, как собаку, на самом высоком кресте на кладбище...» (54, 54).

Чувствуете, как ему нравится это: «как собаку, на кресте»?

Так ведь у него двух невинных братьев такие же вартовые замучили! Это можно простить? А если не простить, то скольким же братьям придется мстить за братьев?

Тогда не думали об этом. Тогда каждый, у кого было оружие, чувствовал себя в силе, и в праве, и в правде.

23 сентября отряд налетел на Гуляй-Поле, но там оказалось полно войск – ушли боковой улицей, схоронились в балке, где под открытым небом и заночевали. Через двое суток, в Марфополе, махновцев накрыл настоящий карательный отряд, небольшой, правда, человек 25. Махно подпустил врагов поближе, опять назвался вартовым и, чуть-чуть этим заявлением расслабив наступавших, в упор расстрелял из стоящего на тачанке пулемета. Так как за каждого убитого на территории деревни оккупационные власти накладывали на население контрибуцию, трупы свезли в ближайший помещичий лесок.

То, что контрибуцию на Марфополь все-таки наложили – внести 60 тысяч рублей в течение суток, – Махно, по-видимому, не слишком тревожило: непосильные налоги, порки, шомпола – это ж было именно то, что высекало искру на трут, то, от чего должно было вскипеть сдерживаемое недовольство и полыхнуть восстание масс. Конечно, для восстания одних налетов на имения было недостаточно: здесь необходимо, чтобы большие, очень большие группы людей стали ненавидеть и уничтожать друг друга. А для того, чтобы воспламенить массы, потребна была другая масса, критическая масса насилий и смертей и вызванных ими отчаяния и злобы. Как частицы огненного флогистона, небольшие группы боевиков кружились по Украине, сея огонь и смерть: и лишь когда озверевшие от партизанских налетов каратели стали жечь деревни, убивать и мучить крестьян за одно лишь «сочувствие» – пламя народного гнева ударило вширь...

По порядку, однако. В конце сентября махновцам удалось на короткое время захватить Гуляй-Поле – австрийцы ушли оттуда ловить партизан, в селе оставалась одна рота и человек восемь—десять варты. У Махно было семь человек, но за сутки по старым связям удалось сагитировать на выступление еще четыреста. Ночью село было захвачено: и варта, и австрийцы сдались, штабные бежали. Махно спешил, зная, что боя не выдержит. В Александровск ушла телеграмма: «Всем, всем, всем! Районный гуляйпольский Ревком извещает о занятии повстанцами Гуляй-Поля, где восстановлена советская власть. Объявляем повсеместное восстание рабочих и крестьян против душителей и палачей украинской революции...» (6, 204). Махно пишет, что были отпечатаны листовки с призывом поддерживать революционно-повстанческий штаб (которого на самом деле еще не было) и организовывать боевые отряды. Был устроен грандиозный митинг: австрийские солдаты, которым раздали деньги из взятой бригадной кассы, воодушевились до того, что просили взять их с собой. Их, естественно, не взяли. Махно отдавал себе отчет в том, что эйфория будет короткой и за ней последует расплата. Он, по существу, блефовал, рассылая телеграммы и печатая воззвания от имени несуществующего штаба, но делал это сознательно, понимая, что по-настоящему почва для восстания будет подготовлена лишь после того, как по его следам в село придут каратели...

Действительно, вскоре на станцию Гуляй-Поле – километрах в семи от села – прибыло два эшелона карательных войск. Махновцы подстерегли карателей на марше и с двух тачанок

резанули из пулеметов по не успевшим развернуться походным колоннам. Когда враги залегли, партизаны сорвались прочь, проскочили Гуляй-Поле «напоперек» и в количестве двадцати примерно человек были таковы, оставив остальных участников восстания на милость победителей...

Отрядов, подобных махновскому, было тогда на Украине множество: все они были невелики, дерзки и абсолютно безответственны. Иначе они и не могли бы, пожалуй, выжить: увеличение численности могло роковым образом обернуться неповоротливостью или, чего доброго, искушением принять открытый бой, выиграть который партизаны вряд ли могли бы. И не только потому, что оккупанты были в сто раз лучше вооружены, но и потому еще, что в это время заодно с ними действовали и добровольцы – кулаки и помещики, местные уроженцы, великолепно знающие каждую пядь земли, каждый партизанский угол. Зажиточные хуторяне и немцы-колонисты с нутрянной тоской чувствовали, что уж на этот-то раз священное их право собственности на землю обрушится навсегда, отберут у них, перекроют и переделают все нажитое – свои же ближние отберут из чистой зависти, как уже отбирали в семнадцатом году, но только с большей злостью, с большим остервенением. Хуторяне и колонисты припрятавали оружие, организовывали «самооборону», а то и включались – всем своим хозяйским сердцем ненавидя партизанскую сволочь, голытьбу, огнепускателей – в карательные операции.

В конце сентября Махно двинулся на соединение с отрядом анархиста Ермократьева, который, по слухам, насчитывал до 300 человек. Но оказалось, что отряд разгромлен, и только сам Ермократьев с семью сподвижниками прятался где-то на хуторе. Его взяли с собой и тронулись в сторону Гуляй-Поля.

Вечером, с перепугу, должно быть, махновцев обстреляли немецкие колонисты, оберегающие от налетов свою маленькую Heimat – колонию № 2. Вот как описывал дальнейшее Алексей Чубенко, бывший не только свидетелем, но и участником событий: «Выбили их из огорода, а они засели во дворах; выбили оттуда, прогнали улицей, а они засели в домах и ну палить по нас. Судили-рядили, а потом решили выкурить. Мигом поднесли огня и пустили красного петушка. Скирды сена, соломы, дома горели так ярко, что на улицах было светло, как днем. Немцы, прекратив стрельбу, выбегали из домов, но наши всех мужиков стреляли тут же. Женщин и детей брали в плен. Под утро, когда выхватили из огня кое-что из одежды, лошадей и тачанки, мы двинулись вперед...» (6, 205).

В тот же день к вечеру случилось еще одно событие, которое стыдливо замалчивается и Махно, и Аршиновым, и в перевернутом виде кочует из книжки в книжку у советских историков, когда они, как о достоверном факте, пишут о том, как Махно, одевшись в подвенечное платье, прибыл на бал к помещику Миргородскому и учинил там кровавую резню. Версия эта по-своему поэтична, но, по-видимому, лжива. Во всяком случае, в воспоминаниях о махновщине Виктора Белаша, который пишет со слов все того же Чубенко, изложена куда более убедительная, хотя и не менее кровавая история.

Итак, в тот же день партизаны захватили на дороге разъезд штабс-капитана Мазухина, начальника александровской уездной варты, который незадолго перед тем руководил разгромом отряда Ермократьева, а теперь ехал на именины к помещику Миргородскому.

Несчастный штабс-капитан! «Его раздели догола, а за компанию и его секретаря, ехавшего с ним в экипаже. Кучера, вартового и четырех конных, сопровождавших его, только обезоружили» (6, 206). Штабс-капитан заплакал, «упрашивая даровать ему жизнь. Но куда там! Ермакратьев сам его пытал за михайлово-лукашевскую расправу, а затем привязал к животу ручную гранату и взорвал, а секретаря расстрелял» (6, 206).

Нарядившись в мундиры варты, повстанцы прибыли на именины к Миргородскому. Подвыпившие гости радостно приветствовали их как русских офицеров.

«– За здоровье хозяина, офицеров, за возрождающуюся великую Россию и вас, господа помещики!.. – начал тост отставной генерал. – Да поможет вам Бог освободить христианскую церковь от анархистов-большевиков!

– Да ниспошли вам, русские люди, успеха в поимке бандита Махно! – провозгласил один из гостей...

Махно полез в карман за бомбой.

– Покарай его святая... Разъяренный Махно встал...

Генерал оторопел, гости от испуга выронили бокалы...

– Я сам Махно, ... буржуазные! – зычно крикнул Нестор и поднял бомбу. Шипя, она упала в хрустальную вазу... Наши бросились к дверям. Свет потух... Оглушительный взрыв, за ним другой, третий.

Мы стояли у окон и ждали, когда кто-нибудь из них будет бежать... Но никого не дождались. Когда осветили зал, глазам представилась такая картина: полковник, захлебываясь в крови, тяжело дышал, хозяин без руки корчился в судорогах, остальные или совсем не показывали признаков жизни, или звали на помощь. Наши хлопцы обыскали их, у женщин снимали ценности, а потом штыками докололи оставшихся в живых.

Мигом ребята открыли погреб и разыскали выпивку и закуску.

Подкрепившись немного и захватив что поценнее, зажгли имение. Красиво оно горело» (6, 206–207).

К концу месяца в отряде было уже около 60 человек: кружась по селам, Махно убеждался, что может в любой момент «облипнуть» людьми. 30 сентября он пришел в село Дибривки, где к нему присоединился растрепанный карателями и с лета прятавшийся в лесу отрядик местного партизана Федора (настоящее имя Феодосии) Щуся, который позже станет одной из самых одиозных фигур махновщины. На совместном митинге им удалось так распалить крестьян, что вступить в отряд выразили готовность до полутора тысяч человек. Но не было оружия. Встреча, однако, была столь теплой, что уставшие от ярости партизанчества повстанцы легли спать, даже не выставив охранения. Ночью на село ударили австрийцы вместе с добровольцами из кулаков и немецких колонистов, и партизаны, побросав тачанки и оружие, вынуждены были бежать обратно в лес. Положение было критическое: в отряде

после бегства насчитали всего тридцать два человека, силы врага были неизвестны, но намерения его ясны – окружить партизан и уничтожить. Махно один, пожалуй, не потерял голову, сходил в село на разведку и вернулся злой: батальон австрийцев занял Дибривки, с ними было две сотни добровольцев и варты. Числом карателей партизаны были удручены едва ли не больше, чем внезапностью их нападения. Щусь предложил схорониться поглубже – ему все еще казалось, что лес, столько времени укрывавший его, сбережет и на этот раз. Но Махно знал, что такое каратели. В голове его созрел безумный план: немедленно напасть на врагов, рассеять их и, воспользовавшись паникой, скрыться. Бойцы отряда – и махновцы, и щусевцы, – прельщенные светом отчаянной надежды, с гибельным восторгом закричали:

«– Отныне будь нашим батьком, веди, куда знаешь!» (6, 208).

Сцена наречения Махно «батькой» – несомненно, ключ ко всей махновской мифологии. В этом смысле показательно, что сам Махно ночной партизанский крик, исторгнутый из груди в минуту отчаяния, предлагает нам в следующей редакции:

«– Отныне ты наш украинский Батько, мы умрем вместе с тобою. Веди нас в село против врага!» (52, 84).

Для Махно события этой ночи имеют поистине сакральный смысл – в них и повод для глубокомысленных философских рассуждений – «Честно ли допускать до того, чтобы меня так возвышали?» (54, 91), – и оправдание. Поэтому он не удерживается от того, чтобы страшный разгром, учиненный карателями в Дибривках, истолковать в победном для себя смысле. Хотя это была и не победа даже, а просто спасение от смерти – для тридцати партизан.

Но Махно действительно отличился. Он и еще несколько человек с двумя пулеметами «люис» незамеченными прокрались через село до самой базарной площади, где расположились каратели, и, спрятавшись за базарными лавками, внезапно открыли смертоносный, в упор, огонь по отдыхавшим людям. С другой стороны на них ударили бойцы Щуся: среди австрийцев и добровольцев началась паника: крестьяне, выбегая из дворов с вилами и топорами, стали ловить и убивать в беспорядке отступавших. Блеснули первые языки огня... Вот оно, вот оно – восстание, бунт, «святой и правый» бой угнетенных против угнетателей! Дождался Нестор Иванович!

Австрийцы, однако, быстро опомнились. «Отступив на западную и северную окраины, – рассказывал Чубенко, – они подожгли строения. Расстреливая крестьян, бегущих из центра на пожар, они не миловали ни женщин, ни детей. Более сорока двух дворов сгорело, а сколько было расстрелянных – трудно сказать.

Махно на площади митинговал перед крестьянами, которые, как и повстанцы в лесу, кричали: будь нашим батьком, освободи от гнета австрийцев!..

Но скоро мы вновь были окружены.

С боем прорвались мы через мост на южной стороне села. Нас преследовали стоны дибривчан... шум падающих в огне строений... Но помочь горю мы были не в силах» (6, 208).

Махно пишет, что все село было сожжено и ограблено, бабы насильничаны, мужики избиты или убиты. Особенно зверствовали кулаки и колонисты, присоединившиеся к карателям. Уже на следующее утро махновцы отловили на дороге тачанку из немецкой колонии Красный Кут. В ней вместе с колонистами оказался плененный ими дибривский крестьянин. Когда Махно спросил его, какой кары он желает обидчикам своим, тот ответил: «Они дураки. Я им ничего худого не хочу сделать» (54, 106). Однако другие, ранее прибежавшие в отряд крестьяне из Дибривок воспротивились такому подходу. «Они взяли этих кулаков и тут же отрубили им всем головы» (54, 106).

Занялась, занялась уже ненавистью душа человеческая! На Украине начинались события, в терминах мирного времени неопишуемые, осененные средневековым образом «пляски Смерти» – аккомпанементом которой должны служить адский свист ее косы, вопли ужаса, стоны умирающих, треск свирепого огня и отчаянное хрипение всякой другой, прижившейся к человеку погибающей твари. Противники стоили друг друга. За Дибривки махновцы в один день сожгли Фесуковские хутора и колонию Красный Кут, откуда явились пособники карателей. Некоторые из них еще не вернулись домой и не знали, что сами едут на пепелище. «Легкий ветерок поспособствовал задаче. Колония быстро превратилась в сплошной костер» (54, 111). Нигде не задерживаясь, отряд стремительно двинулся на юг, в Бердянский и Мариупольский уезды, налетая на хутора, налагая контрибуции, отбирая оружие, уничтожая сопротивлявшихся и безусловно обрекая на смерть офицеров и вартовых.

Под Старым Керменчиком махновцы впервые столкнулись с белыми: подробностей боя мы не знаем, но Махно записал за собой победу. Белые тогда еще были не в силе, сами действовали по-партизански, главными врагами махновцев оставались кулаки и карательные батальоны. Под Темировкой отряд, разросшийся до 350 человек, попал в западню: Чубенко свидетельствует, что накануне Махно и многие повстанцы были пьяны и не приняли достаточных мер предосторожности. Окруженные ночью австрийцами, повстанцы сражались отчаянно. Махно, раненный в руку, стрелял из «льюиса» с плеча верного телохранителя Пети Лютого. Но лишь половине бойцов, в том числе и Махно с новой «женой» – дибривской телефонисткой Тиной, удалось вырваться из окружения. Месть батьки была страшной. Хуторянам, поверившим слухам о том, что Махно убит, в качестве сюрприза преподнесена была «сверхмобильная авангардная боевая группа» под командой отчаянного головореза Алексея Марченко, которому предписывалось «огнем и мечом пронестись в один день через все кулацкие хутора и колонии маршем, который не должен знать никаких остановок перед силами врагов» (54, 159). Рейд произвел на кулаков шоковое впечатление, хотя хутора на этот раз не сжигались и расстреливали только организаторов сопротивления. С оккупантами Махно тоже посчитался: на линии Александровск—Синельниково махновцы разбили немецкий эшелон пущенным со станции паровозом и, перебив охрану, захватили много оружия и огромное количество варенья, которым, как пишет Махно, русская буржуазия одаривала своих защитников. Все добро, включая варенье, было роздано окрестным крестьянам...

Вероятно, операции такого рода продолжались бы еще долго, если бы вдруг – а эта весть для всех была неожиданностью, только для одних приятной, а для других ужасающей, – не выяснилось одно обстоятельство: немцы уходят! О ноябрьской революции в Германии, отречении кайзера от престола и крахе всех германских замыслов на Западе и на Востоке здесь, в партизанской глуши, никто не знал. Очевидно было одно: уходят! «Гуляй-Польский район, до того насыщенный войсками, в начале декабря был почти пуст. Гуляй-Поле, Дибривки и Рождественка были оставлены оккупантами на произвол судьбы. Они группировались, главным образом, на ж.-д. узлах: Пологи, Чаплино, Волноваха и, если на них не нападали, не проявляли себя наступательными действиями, – свидетельствует Чубенко. – Эти села были нами заняты без боя. Отсюда мы начали отрядами распространяться во все стороны...» (6, 210). На узловых станциях под прикрытием оккупантов скопились толпы беженцев – все, кто каким-то образом был связан с властями, хотя бы только деловыми отношениями, спешили скрыться. Наталья Сухогорская, приехавшая на «умиротворенную» Украину весной голодного 1918 года, чтобы отъесться и отдохнуть, и в результате вместе с ребенком попавшая в самый эпицентр махновщины, вспоминает: «На железнодорожной узловой станции Пологи, в 19 верстах от Гуляй-Поля, скопилась масса народа... убежавшего от Махно... Австрийцы еще оставались в Пологах... солдаты ходили взад и вперед, так как временно здесь был помещен австрийский штаб. Между тем среди беженцев совершенно спокойно разгуливал сам батько Махно. Переодетый рабочим, в темных очках, он похаживал и посматривал на публику... Никому и в голову не пришло выдать его австрийцам... Австрийцы уходили, им было не до нас...» (74, 41). Мы не знаем, в самом ли деле Махно прогуливался среди беженцев в Пологах – Сухогорская знала его в лицо, но могла все же и ошибаться, – но для нас важно зафиксированное ею состояние ужаса перед ним, парализующего страха, который внушало его имя. Махно входил в силу. Теперь он был хозяином района.

В Гуляй-Поле, «основательно» занятом 27 ноября, был организован Революционно-Повстанческий штаб. Наметились «фронты», то есть выставлены были отряды: на западе, в районе Чаплино, против отступающих немцев; на востоке – против «казацких отрядов белого Дона»; на юге – против Дроздовского отряда, рейдирующего в районе Бердянска; на юго-западе – против помещичье-кулацких формирований генерала Тилло, действовавших в Таврической губернии. Под контролем Махно оказалась территория радиусом примерно 40–45 километров со «столицей» в Гуляй-Поле. Что конкретно происходило на этом пространстве в те смутные дни, мы знать не можем. Н. Сухогорская вспоминает черное ночное небо и опоясывающую горизонт розовую ленту пожарищ: «Это горели хутора немцев и личных врагов Махно» (74, 41). Махно, напротив, утверждает, что всячески противился сведению счетов. Действительно, нелепо полагать, что пострадали только его личные неприятели. После бурной весны и не менее бурной осени 1918 года в каждой деревне, похоже, было кому с кем посчитаться. В сведении счетов, в конце концов, и заключен главный ужас Гражданской войны. Махновцы, надо полагать, своих противников-кулаков не пощадили, выжгли со всем тщанием крестьян, привыкших к разного рода нечистой работе. Но к уцелевшим, побежденным, не было того рода отчужденной, холодной жестокости, похожей на издевательство, которую потом, в лице присылаемых из города продагентов, чекистов и прочих, продемонстрировали большевики...

В отношении кулаков все же проведен был ряд диктаторских мер, а именно – разоружение и экспроприация. Махно цитирует резолюцию, принятую на сходе дибривских крестьян: «За каждую сданную собственниками-богатеями винтовку с пятьюдесятью патронами к ней отряды должны возвращать три тысячи рублей из общей контрибуционной суммы» (54, 124). Эх, придет двадцатый год, и такое диктаторство просто ухаживанием покажется... Правда, для нужд партизанской войны безвозмездно отбирались тачанки и часть содержащихся в хозяйстве лошадей: нужно было не зевать и оградить район от чужеродного вторжения в условиях калейдоскопически меняющейся боевой обстановки.

Махно становился крут, решителен, постепенно привыкал к командному своему статусу. Но чтобы быть вождем полноценным, чтобы его образ был наполнен в должной мере силой обаяния, чтобы никто не смел упрекнуть его в мужской холодности – что может быть хуже на Украине? – ему нужна была женщина. Такая женщина, которая не посрамила бы его титул батьки. Он давно приглядывался к двадцатичетырехлетней учительке из Добровеличковки Галине Кузьменко. Он пошел за нею, когда ощутил себя в силе, когда почувствовал наверняка, что она не устоит перед обаянием его геройства.

Сцена «сватовства», рассказанная мне внучатым племянником Махно Виктором Яланским (сам он ее услышал от Варвары Петровны, своей бабки, которая, после того как австрийцы расстреляли ее мужа Емельяна, стала твердокаменной партизанкой и даже при советской власти вспоминала Махно исключительно как героя), настолько многозначительна и вместе с тем трогательна, что, несмотря на кажущуюся грубость, вызывает искреннее восхищение:

«Она преподавала урок, и вдруг, говорит, заходит в военной форме мужчина, небольшого роста, садится за парту – и смотрит на нее...

...Потом встал – а ученики все смотрят – „Пойдемте, говорит, выйдемте из класса“. Ну, она сказала ребятам, что скоро вернется, и вышла с ним в коридор.

У него пистолет был, он его уронил на пол:

– Подбери.

Она стоит, смотрит:

– Твой – ты и бери».

Прекрасная, краткая, простодушная дуэль! Он нагнулся, подобрал. Из рассказа Виктора Ивановича получается, что вернуться в класс Галине Андреевне так и не пришлось: Махно повел ее к директору школы, Алексею Корпусенко, и объявил: «Вот, это будет моя жена». А тот хоть и робел перед атаманом, но все же, храня в груди старорежимную педантичность и ответственность, возразил: «Как же ж? Она же уроки преподает... Вот кончатся экзамены...»

– Ну, – вздыхал в этой части рассказа Виктор Иванович, – Нестор побеседовал с ним, и она стала его женой и сподвижницей на всю жизнь, от Гуляй-Поля до Парижа... (92).

Быть может, Агафья-Галина и не любила Махно, но ей была по нраву жизнь, которую он вел, – с погонями, битвами, сумасшедшими страстями. С полным правом народные песни и боязливо-восторженные крестьянские рассказы ставили рядом «батьку Махно» и «матушку Галину». Н. Сухогорская так описывала ее в воспоминаниях: «Очень красивая брюнетка, высокая, стройная, с прекрасными темными глазами и свежим, хотя и смуглым цветом лица, подруга Махно внешне не походила на разбойницу. По близорукости она носила пенсне, которое ей даже шло... Жена Махно производила впечатление не злой женщины. Как-то она зашла в тот дом, где я снимала комнату, в гости. В котиковом пальто, в светлых ботах, красивая, улыбающаяся, она казалась элегантною дамой, а не женой разбойника, которая сама ходила в атаку, стреляла из пулемета и сражалась. Рассказывали про нее, что несколько махновцев она сама убила, поймав их во время грабежа и насилия над женщинами. Ее махновцы тоже побаивались...»

Итак, личную жизнь Махно устроил. Но для дела ему катастрофически не хватало людей. Если уж белые и большевики испытывали постоянную нехватку в компетентных, толковых работниках, то махновцы и подавно: у них были только те таланты, которые могли дать деревня и городские низы. Этим обстоятельством задавался и уровень образованности, и масштаб дарований. И хотя среди махновских командиров были настоящие самородки, люди исключительно одаренные в военном отношении (В. Куриленко, С. Каретников, П. Петренко), эта бедность в людях всегда была ощутима. Первоначально в штабе повстанчества оказались только Махно, Алексей Марченко и Семен Каретников. Марченко был человек отчаянной смелости, но стратегически мыслить, по-видимому, не умел и по убеждениям был закоренелый партизан и налетчик. Каретников (часто называемый Каретником) на мировой войне дослужился до унтера, имел боевой опыт. Правда, вскоре после бегства из Киева гетмана Скоропадского в Гуляй-Поле вернулись Александр Калашников и Савва (он же Савелий) Махно, освобожденные из тюрьмы по объявленной новым украинским правительством политической амнистии. В декабре 1918 года начальником штаба стал Алексей Чубенко, вместе с которым работали левый коммунист Херсонский (екатеринославский рабочий, считавший себя несогласным с линией партии), левый эсер Миргородский (когда-то работавший вместе с Махно в александровском ревкоме) и анархист Горев.

Как раз в это время в Гуляй-Поле прибыл Виктор Белаш, 26-летний паровозный машинист, которому суждено было стать бессменным начальником штаба и первым стратегом махновщины и который, словно бы в пику тяжеловесной науке фон Клаузевица, начал даже писать целиком построенную на парадоксах «Тактику партизанской войны». Белаш не знал Махно и услышал о нем только в Мариуполе, куда добрался вместе с рыбаками, чтобы ввязаться во всеукраинскую драку. Услышав же, почувствовал родное и стал пробираться в Гуляй-Поле: через фронт, уже установившийся между махновцами и белыми, через родную Новоспасовку. Махновская столица предстала его глазам во всей красе: «У штаба висели тяжелые черные знамена с лозунгами: „Мир хижинам, война дворцам“, „С угнетенными против угнетателей всегда“, „Освобождение рабочих – дело рук самих рабочих“. Дальше виднелись красные флаги вперемешку с черными, развешанные, видимо, у зданий гражданских организаций. Рядом со штабом, у входа в „Волостной Совет рабочих, крестьянских и повстанческих депутатов“ висели два флага – один черный с надписью: „Власть рождает паразитов, да здравствует анархия!“, другой – красный с лозунгом „Вся

власть советам на местах!“.

Мимо нас проехала тачанка с пулеметом. Пьяные молодые пулеметчики с длинными волосами под гармошку пели какую-то песню, а столпившиеся возле штаба девушки махали им вдогонку платочками...

...Громадный штабной зал был переполнен народом. Здесь была и караульная команда штаба, и местные посетители, главным образом – женщины, просящие вернуть с позиции их сыновей, и делегаты, приехавшие из окрестных сел. В отдалении в углу на столике стоял телефон, и телефонист кричал в трубку изо всех сил... Направо были двери с надписями мелом. На первой из них было написано – „начальник снабжения“, на второй – „члены штаба“ и на третьей – „начальник штаба“» (6, 202).

Белаш не застал Махно – тот уехал брать Екатеринослав. Встреча произошла лишь через несколько дней. Белаш не без удивления увидел маленького человека, одетого в диагональные галифе, драгунскую с петлицами куртку и студенческую фуражку, который устало соскочил с лошади и, пропустив проходящие по улице подводы, вошел в штаб.

– Что же вы тут сидите, подлецы? Пьете, наверное, а нас там бьют! – долетел до него высокий полуженский голос (6, 211).

Щусь, знавший Белаша, представил его батьке:

– Батько, а вот тот, который обещал высадить десант на Кубани.

Махно взглянул на прибывшего:

– А, сволочь, обманул! – и пожал ему руку.

Махно опять лицедействовал: он обломал зубы об Екатеринослав и чувствовал себя неуютно. Такого разгрома партизаны прежде не знали.

Версия #1

□□□□□□□□ □□□□□□□□ создал 2 апреля 2025 11:11:16

□□□□□□□□ □□□□□□□□ обновил 2 апреля 2025 11:13:20